



# АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

## ХРОМОЙ БАРИН

Алексей Толстой

**Хромой барин**

«Public Domain»

1912

## **Толстой А. Н.**

Хромой барин / А. Н. Толстой — «Public Domain», 1912

Роман Алексея Толстого (1882-1945) «Хромой барин» (1912) рассказывает о помещике родной для писателя Самарской губернии, склонному к разным чудачествам, о всевозможных неординарных, иногда анекдотических происшествиях. А. Н. Толстой — правдивый и беспощадный обличитель темных жестоких сторон прошлого, продолжатель традиций классического критического реализма — вначале искал своих положительных героев в пределах старого общества, хорошо знакомой ему дворянской и интеллигентской среды.

© Толстой А. Н., 1912

© Public Domain, 1912

## Содержание

Алексей Толстой	5
ЛУННЫЙ СВЕТ	5
1	5
2	7
3	8
НЕОЖИДАННОЕ ЧУВСТВО	11
1	11
2	12
Конец ознакомительного фрагмента.	13

## Алексей Толстой ХРОМОЙ БАРИН

*С престола ледяных громад,  
Родных высот изгнанник вольный,  
Спрядает вольный водопад  
В теснинный мрак и плен юдольный.  
А облако, назад – горе –  
Путеводимое любовью,  
Как агнец, жертвенною кровью  
На снежном рдеет алтаре.  
(Вяч. Иванов. Кормчие звезды)*

### ЛУННЫЙ СВЕТ

#### 1

К полуночи луна, взойдя над Колыванью, осветила с левой стороны неровные стекла изб, направо погнала густые тени по притоптанному гусиному щавелю деревенской улицы и задвинулась заблудившимся в ночном небе облаком, – в это время вдоль села мчалась во весь дух с подвязанным колокольчиком тройка, впряженная в откидную коляску.

Еще не пели петухи, а собаки уже перестали брехать, и только в избе с краю села сквозь щели ставней желтел свет.

У избы этой над двухскатной крышей ворот торчал шест с обручем, обвязанным сеном, издалека указывая путнику постоянный двор. За избой далеко расстилалась ровная, серая от лунного света степь, куда и уносилась взмыленная тройка с четким, гулким в ночной тишине галопом пристяжных и валкой, уходистой рысью коренника. Человек, сидящий в коляске, поднял трость и тронул кучера. Тройка осела и стала у постоянного двора.

Человек снял с ног плед, взялся за скобу козел и, прихрамывая, пошел по траве к низкому крылечку. Там, обернувшись, он сказал негромко:

– Ступай. На рассвете приедешь.

Кучер тронул вожжами, и тройка унеслась в степь, а человек взялся за кольцо двери, погромел им и, словно в раздумье, прислонился к ветхому столбику крылечка. Его узкое лицо было бледно, под длинными глазами – тени, выющаяся небольшая борода оставляла голым подбородок. Он медленно стянул с правой руки перчатку и постучал во второй раз.

По скрипящим доскам сеней послышались босые шаги, дверь приоткрылась, распахнулась быстро, и на пороге стала молодая баба.

– Алешенька! – сказала она радостно и взволнованно. – А я и не ждала. – Она несмело коснулась его руки и поцеловала в плечо.

– Принимаешь, Саша? – спросил он. – Я к тебе до утра. – И, кивнув головой, вошел в залитые лунным светом сени.

Саша шла впереди, оборачиваясь и открывая улыбкой на свежем красивом лице своем белые зубы.

– Я видела, как ты о полдень проехал по селу. Наверно, подумала, к барину Волкову, там тебя и ночевать оставят, а ты вот как, батюшка, ко мне прибыл...

– У тебя никто не спит из приезжих?

– Нет, никого нет, – ответила Саша, входя в летнюю дощатую горницу. – Мужики с возами остановились, только все спят на воле, – и она села на широкую, покрытую лоскутным одеялом кровать и улыбнулась нежно.

Свет месяца, пробираясь в горницу через небольшое окошко, осветил Сашино лицо с приподнятыми углами губ, высокую шею в вырезе черного сарафана, на груди – шевелившуюся нитку янтарных бус.

– Принеси вина, – сказал вошедший.

Он стоял в тени, держа шляпу и трость. Саша проворно соскочила и ушла. А он лег на кровать, закинул за голову руки. Понемногу лицо его сморщилось, исказилось. Он повернулся на бок и, охватив подушку, сунул в нее голову.

Саша вернулась, неся небольшой столик, покрытый салфеткой; на него она поставила две бутылки – одну с вином, другую со сладкой водкой, поднялась по лесенке в чулан и вынесла оттуда на тарелке орехи, пряники, изюм. Двигалась она быстро и легко, переходя из лунного света в тень. Лежавший приподнялся на локте, сказал:

– Поди сюда, Саша. – Она сейчас же села в ногах его, на кровать. – Скажи, если бы я тебя обидел, страшно бы обидел, простишь?

– Воля твоя, Алексей Петрович, – помолчав, дрогнувшим голосом ответила Саша. – А за твою любовь – благодарю покорно. – Она отвернулась и вздохнула.

Алексей Петрович, князь Краснопольский, долго старался в темноте разобрать лицо Саши. После молчания он сказал тихо, точно лениво:

– Все равно – ты ничего не поймешь. Рада, что я приехал, а не спросила – откуда и почему я у тебя здесь лежу?.. А то, что я у тебя лежу сейчас, – отвратительно... Да, ужасно, Саша, гнусно.

– Что ты, что ты! – проговорила она испуганно. – Если бы я тебя не любя принимала.

– Поди ближе. Вот так, – продолжал князь и обхватил Сашу за полные плечи. – Я и говорю – ты ничего не понимаешь, и не старайся. Послушай, нынче вечером я досыта наговорился с одним человеком. Хорошо было, очень.

– С барышней Волковой?

– Да, с ней. Вот так – сидел близко к ней, и голова у меня кружилась больше, чем от твоего вина. Знаешь, как во сне покажется, что тебя нежно погладят, так и я о ней словно во сне вспоминаю. Сейчас ехал оттуда, и мне казалось, будто совсем все у меня хорошо и благополучно. А когда въехал в Колывань, подумал: стоит только остановить лошадей у твоего крыльца – и все мое благополучие полетит к черту. Теперь понимаешь? Нет? Нельзя мне к тебе заезжать. Хоть бы ты мне отравы какой-нибудь дала.

Сашины руки упали без сил, она опустила голову.

– Жалеешь ты меня, Саша? Да? – спросил князь, привлек ее и поцеловал в лицо, но она не раскрыла глаз, не разомкнула губ, как каменная. – Перестань, – прошептал он. – Я с тобой шучу.

Тогда она заговорила отчаянно:

– Знаю, что шутишь, а все-таки верю. Зачем же мучаешь? Ведь на душе у меня живого места не осталось. Знаю – из милости любишь. Баба я, какой мой век, какое уж мне счастье!

За стеной в это время громко закричал петух. Лошадь спросонья ударила в доску. Понемногу в утреннем слабом свете яснее стало видно худое, в тенях, красивое лицо князя. Большие глаза его были печальны и серьезны, на губах – застывшая усмешечка.

Саша долго глядела на него, потом принялась целовать князю руки, плечи и лицо, ложась рядом и согреть его сильным своим, взволнованным телом.

## 2

На другой стороне села, за плетнем, посреди заросшего бурьяном двора, в новой избе, на полатах лежал доктор Заботкин.

Снизу была видна только его голова, упертая в два кулака подбородком, на котором росли прямые рыжие волосы. Такие же космы во все стороны, начиная с макушки, падали на лоб и глаза, лицо было неумыто и припухло от сна.

Доктор Григорий Иванович Заботкин, прищуря глаз, сплевывал вниз с полатей, стараясь попасть в сучок на полу.

Напротив, в простенке, под жестяной лампой сидел на лавке попик небольшого роста, тихий и умильный, с проседью в темной косице. Рукава его подрясника были засалены и в складках, как у гармоники. Запустив в них пальцы, отец Василий морщился и молчал, глядя, как доктор плюется.

– В три года во что себя человек обратил, – сказал, наконец, отец Василий.

– А что, не нравится? – лениво ответил Григорий Иванович. – А у меня с детства такая привычка: когда очень скучно, залезу в тесное место и плююсь. Не нравится – не глядите. У меня даже излюбленное местечко было – под амбаром, где мягкая травка росла. Там наша собака постоянно щенилась. Щенята – теплые, молоком от них пахнет; собака их лижет, – они скулят. Хорошо быть собакой, честное слово.

– Дурак ты, Григорий Иванович, – помолчав некоторое время, сказал отец Василий. – Я лучше уйду.

– Вы, отец Василий, не имеете права уходить, пока не доставите мне душевного облегчения, вам за это правительство деньги платит.

– Сколько тебе лет?

– Двадцать восемь.

– Университет окончил, года молодые, занятие светское, я бы на твоём месте весь день смеялся. А ты, эх! Ну куда ты годен с твоими идеями? Лежишь и плюешься.

– У меня, отец Василий, идеи были замечательные. – Григорий Иванович повернулся на спину, вытянул с полатей руки, хрустнул пальцами и зевнул. – Вот к водке я привыкнуть не могу. Это верно.

– Эх! – сказал отец Василий, аккуратно достал из подрясника жестяной портсигар, чиркнул спичкой, по привычке зажигать на ветру подержал ее между ладонями – шалашиком, закурил и, покатав в пальцах, бросил под лавку. – Ну, вот поверь – была бы в селе другая, кроме тебя, интеллигенция, нипочем бы не стал ходить к тебе.

Подобные разговоры происходили между доктором и отцом Василием постоянно, начиная с весны, когда сгорела колыванская больница. Григорий Иванович передал тогда все дела фельдшеру и сидел в избе, нанятой земством на время, пока не построят новую больницу.

Три года назад Григорий Иванович был назначен на первое свое место в Колывань. Сгоряча он принялся разъезжать по деревням, лечить и даже помогать деньгами. Таскаясь в распутицу по разбухшей навозной дороге или насквозь продуваемый ледяным ветром в январскую ночь, когда мертвая луна стоит над мертвыми снегами; заглядывая в тесные избы, где кричат шелудивые ребятишки; угорая в черных банях – под герой – от воплей роженицы и едкого дыма; посылая отчаянные письма в земство с требованием лекарств, врачебной помощи и денег; видя, как все, что он ни делает, словно проваливается в бездонную пропасть деревенского разорения, нищеты и неустройства, – почувствовал, наконец, Григорий Иванович, что он – один с банкой касторки на участке в шестьдесят верст, где мором мрут ребятишки от скарлатины и взрослые от голодного тифа, что все равно ничему этой банкой касторки не

поможешь и не в ней дело. В это время сгорела больница, он шваркнул касторку об землю и полез на полати.

Отец Василий, на глазах которого выматывался таким образом третий доктор, очень жалел Заботкина, забегал к нему каждый почти день, стараясь как-нибудь – папиросочкой или анекдотцем – уж не утешить – какое там утешение, когда от человека осталась одна копоть, – а хоть на часок рассмешить: все-таки посмеется.

Окончив зевать, Григорий Иванович повернулся спать на живот, спустил руку и попросил покурить.

– Сегодня табачок у Курбенева купил, – сказал на это отец Василий и, став под полатами на цыпочки, поднял портсигар, нажав у него потайную пружину.

Григорий Иванович хотя и знал, что портсигар этот «фармазонный» – с фокусом, сделал вид, что не помнит, и потянул фальшивое дно, где папирос не было...

– Что, получил папиросы «фабрики Чужаго», – засмеялся отец Василий, очень довольный шуткой. – Ну, кури, кури. А я, знаешь, сегодня у Волкова был.

– Говорят, зверь, страшная скотина твой Волков.

– Совершенная неправда! Мало что болтают. Отличный человек, а живет... Вот бы ты, Григорий Иванович, посмотрел хорошенько на таких людей – не валялся бы тогда на полатах. А дочка его, Екатерина Александровна, поверь мне, замечательная красавица, благословенное творение божие... Был бы я живописцем – Марию бы Магдалину с нее написал, когда она перед женихом усмехается.

– Как это так – усмехается перед женихом? – внезапно перебил Григорий Иванович.

– Разве ты этого не слыхал? Великие живописцы всегда эту усмешку отмечали в своих творениях. Девица, девственница, сосуд любви и жизни, постоянно, как бы видя около себя ангела, указующего перстом на ее чрево, дивно усмехается. Я это тебе не шутя говорю. Ты не смейся. – Отец Василий поднял брови и курил, пуская дым из носа; потом сказал: – Да, так вот как, – вздохнул, помолчал и ушел.

Но Григорий Иванович совсем не смеялся. Втянув на полати голову, лежал он тихо – закрыл глаза, стиснул челюсти, потому что недаром было ему всего двадцать восемь лет и могли еще его, как гром, поражать нечаянные слова о девичьих усмешках,

### 3

Сияет в темно-синем небе лунный свет, и кажется – конца не будет ему, – забирается сквозь щели, сквозь закрытые веки, в спальни, в клетки, в норы зверей, на дно пруда, откуда выплывают очарованные рыбы и касаются круглым ртом поверхности вод.

Той же ночью луна стояла над утоптанном копытами берегом пруда, – он вышел светлым крылом из густой чащи волковского сада.

У воды, в траве, на полушубке лежал широкоплечий бородатый конюх, опираясь на локоть. Конюшонок неподалеку дремал в седле, сивый конек его спросонок мотал головой и брякал удилами. По низкому лугу, среди высоких репейников и полыни, паслись лошади. Жеребята лежали, касаясь мордой вытянутой ноги.

Вдоль берега, от высоких ветел плотины, медленно шел старичок в кафтане. Дойдя до конюха, он остановился и долго не то смотрел, не то слушал...

– Да, ночь теплая, – сказал старичок. Конюх спросил лениво:

– Что ты все бродишь, Кондратий Иванович, – беспокоишься?..

– Брожу, не спится.

– Все думаешь?

– Думается, да... Ведь я по этим местам, как в колесе, всю жизнь прокрутился – по дому да вокруг. Землю-то до камня протер... Они и тянут – старые следы. Помирать, что ли, время?



– На покой тебе нужно, Кондратий Иванович, на пенсию.

– А тут еще барин давеча опять расшумелся, – вполголоса говорил Кондратий. – Князь-то опять в сумерки приезжал. Коляску оставил за прудом и, вор-вором, на лодке подъехал к беседке и с барышней – разговор... Такой влипчивый, прямо сказать – опасный.

– На то он и князь, Кондратам Иванович, это мы с тобой нанялись – продались да помалкиваем, а он что хочет, то и творит. Сказывали, он – гостей провожать – из пушки стреляет.

– Не то плохо, а зачем ездит и не сватается. На барышне нашей лица нет...

Кондратий Иванович замолчал. Конюх, привстав на полушубке, взгляделся и крикнул:

– Мишка, не спи, кони ушли!

Конюшонок очнулся в седле, дернул головой и зачмокал, замахал кнутом; сивая лошадь шагнула и стала, опустив шею. И опять задремала и она и конюшонок: такая теплая и тихая была ночь.

Постояв, помолчав, проговорив многозначительно: «Да-с, так-то вот оно все», Кондратий побрел обратно к саду.

Старая ветла, разбитая грозой, плетень, канава с лазом через нее, дорожки, очертания деревьев – все это было знакомо, и все, словно ключиками, отмыкало старые воспоминания о тяжелом и о легком, хотя если припомнить хорошенько, то легкого в жизни было, пожалуй, и не много.

Кондратий служил камердинером при Вадиме Андреевиче и при Андрее Вадимыче и помнил самого Вадима Вадимыча Волкова, о котором Кондратий даже во сне вспоминать боялся, – такой был он усатый и ужасный, не знал удержу буйствам и для унижения мелкопоместных дворян держал особенного – дерзкого шута Решето и дурку. От них-то и произошел Кондратий, получив с рождения страх ко всем Волковым и преданность.

Вадим Андреевич, отец теперешнего Александра Вадимыча, был большой любитель почитать и пописывать, издал даже брошюру для крестьян под названием «Добродетельный труженик», но был решительно против отмены крепостного права и однажды, приказав привести в комнаты кривого Федьку-пастуха, усадил его на шелковый диван, предложил сигару и сказал: «Теперь вы, Федор Иванович, самостоятельная и свободная личность, приветствую вас, можете идти, куда хотите, но если желаете у меня служить, то распорядитесь, будьте добры, и вас в последний раз высекут на конюшне». Федька подумал и сказал: «Ладно».

При отце Вадима Андреевича – Андрее Вадимыче – Кондратий начал служить казачком. Барин был сырой, скучливый, любил ходить в баню и там часто напивался, сидя вместе с гостями и с девками на свежей соломе нагишом. Так в бане его и сожгли дворовые.

Теперешний Александр Вадимыч Волков был уже не тот – мельче, да и вырос он на дворянском оскудении, когда нельзя уже было развернуться во всю ширь.

И не то что не боялся Кондратий Александра Вадимыча, а недостаточно уважал и был привязан только, но зато всею душой, к дочке его Катюше, первой красавице в уезде.

Перейдя плотину, Кондратий спустился в овраг, перелез через плетень и побрел по сыроватой и темной аллее.

В саду было тихо, только птица иногда ворочалась и опять засыпала в липовых ветвях, да нежно и печально охали древесные лягушки, да плескалась рыба в пруду.

Овальным пруд обступили кольцом старые ветлы, такие густые и поникшие, что сквозь их зелень не мог пробиться лунный свет, – он играл далеко на середине пруда, где в скользящей стеклянной зыби плавала не то утка, не то грачонок еле держался на распластанных крыльях, – нахлебался воды.

Дойдя до конца аллеи, Кондратий заглянул налево, туда, где над прудом стояла кривая от времени беседка, сейчас – вся в тени.

Вглядываясь, он различил женскую фигуру в белой шали, облокотившуюся о перила. Под ногой Кондратия хрустнул сучок, женщина быстро обернулась, проговорила взволнованно:

– Это вы? Вернулись?

– Это я, Катенька, – покашляв, сказал Кондратий и двинулся к мосткам.

Екатерина Александровна легко по доскам сошла на берег, до подбородка закутанная в шаль, постояла перед Кондратием, сказала:

– Ты тоже не спишь? А у меня столько комаров налетело в комнату – не могла заснуть. Проводи меня.

– Комары комарами, – заметил Кондратий строго, – а на пруду по ночам девице одной неудобно...

Катенька, шедшая впереди, остановилась.

– Что за тон, Кондратий!

– Так, тон. Александр Вадимыч пушил меня, пушил сегодня, и за дело: разве мыслимо по ночам прогуливаться, сами понимаете...

Катенька отвернулась, вздохнула и опять пошла, задевая краем платья сырую траву.

– Ты папе ничего не рассказывай про сегодняшнее, голубчик, – вдруг прошептала она и губами коснулась сморщенной щеки Кондратия...

Он довел барышню до балкона, с которого поднимались шесть кое-где облупленных колонн, наверху синевато-белых от лунного света; подождал, пока зашла в дом Екатерина Александровна, покашлял и повернул за угол к небольшому крылечку, где была его каморка с окном в кусты.

И только что он сел на сундук, покрытый кошмою, как по дому прокатился гневный окрик Александра Вадимыча: – Кондратий!..

Кондратий по привычке перекрестил душку и стариковской рысью побежал по длинному коридору к дверям, за которыми кричал барин.

Берясь за дверную ручку, Кондратий почувствовал запах гари. Когда же вошел, то в густом дыму, где желтел огонек свечи, увидел на постели Александра Вадимыча, в одной рубахе, раскрытой на жирной и волосатой груди, с багровым лицом, – барин наклонился над глиняной корчагой, из которой валил дым от горящего торфа. Подняв на Кондратия осовелые, выпученные глаза, Волков сказал хрипло:

– Комары заели. Дай квасу. – И когда Кондратий повернулся к двери, он крикнул: – Вот я тебя, мерзавец! Зачем на ночь окошки не затворяешь?

– Виноват, – ответил Кондратий и побежал в погреб за квасом.

## НЕОЖИДАННОЕ ЧУВСТВО

### 1

Григорий Иванович Заботкин долго разглядывал на полотах какие-то тряпки, мусор, окурки, пыль, втянул через ноздри тяжелый воздух, потрогал болевшую голову и медленно, точно все тело его было тяжелое, без костей, полез вниз, морщась и нащупывая ногами приступки в печи.

Став на пол, Григорий Иванович поддернул штаны и нагнулся к осколку зеркала под лампой. Оттуда глянуло на него желтое сальное лицо, осовелые мутно-голубые глаза и космы волос во все стороны.

– Ну и харя! – сказал Григорий Иванович, запустил пальцы в волосы, откинул их, сел к столу, подперся и задумался.

Бывают такие остатки мыслей, прибереженные напоследок, густые, как болотная тина, дурные, как гниль; если сможет человек их вызвать из душевных подвалов, перенести их боль и оторвать от себя, тогда все в нем словно очнется, очистится; а станет переворачивать, трогать их, как больной зуб, снова и снова дышать этой гнилью, болеть сладкой болью омерзения к себе, – тогда на такого можно махнуть рукой, потому что всего милее ему – дрянь, плевок в лицо.

Григорию Ивановичу очень не хотелось расставаться с лежалыми своими мыслями, – за три года накопилось их очень много. К тому же очень бывает опасно для еще не окрепшего духом человека видеть только больных, только несчастных, только измученных людей. А за три года перед Григорием Ивановичем прошло великое множество истерзанных родами и битьем баб, почерневших от водки мужиков, шелудивых детей в грязи, в голоде и сифилисе. И Григорию Ивановичу казалось, что вся Россия – такая же истерзанная, почерневшая и шелудивая. А если так и нет выхода – тогда пусть все летит к черту. И если – грязь и воняет, значит так нужно, и нечего притворяться человеком, когда ты – свинья.

«Все это так, и припечатано, – думал он, помахивая перед лицом тощей кистью руки. – Жизни я себя не лишу конечно, но зато – пальцем не поведу, чтобы лучше стало. Для утешения – девицу Волкову мне приплел. Так вот что, отец Василий, потаскал бы я эту вашу девицу Волкову по сыпному тифу – посмотрел бы тогда, как она станет «усмехаться перед женихом»...»

Григорий Иванович ядовито засмеялся, но затем почувствовал, что не совсем прав...

«Ну, скажем, эта барышня ничего не видела и не знает – тепличный фрукт... Это еще что-то вроде оправдания... Но поп возмущает меня... Да где оно, это все ваше хорошее, покажите мне? Родится в грязи, живет в свинстве, умирает с проклятием... И никакого просвета в этой непролазной грязище нет. И если я честный человек, то должен честно и откровенно плюнуть в это паскудство, называемое жизнью. И прежде всего в рожу самому себе...»

Григорий Иванович действительно плюнул на середину избы, затем повернулся к окошку и увидел рассвет.

Этого он почему-то совсем не ожидал и удивился. Затем вылез из-за стола, вышел на двор, вдохнул острый запах травы и влаги и сморщился, словно запах этот разрушал какие-то его идеи. Потом побрел вдоль плетня к луговому поему речки.

Плеть, огибая с двух сторон избу и дворик, сбегал к воде, где росли ивы; одна стояла с отрезанной верхушкой, на месте ее торчало множество веток, другая низко наклонилась над узкой речонкой.

Небо еще было ночное, а на востоке, у края земли, разливался нежный свет; в нем соломенные верхи крыш и деревья выступали ясней и отчетливей.

По селу кричали петухи. Откликнулся петух и у Григория Ивановича на дворе. А ветерок, острый от запаха травы, залетел в иву, и листья ее, качнувшись, как лодочки, нежно зашумели.

– Все это обман, все это не важно, – пробормотал Григорий Иванович и, стоя у дерева, глядел не отрываясь, как на бледно-золотом востоке, от света которого уходило ночное небо, делаясь серым, зеленым, как вода, и лазоревым, горела невысоко над землей большая звезда. Это было до того необычайно, что Григорий Иванович раскрыл рот.

Звезда же, переливаясь в пламени востока, таяла, и вдруг, загасив ее, поднялось за степью солнце горячим бугром.

Над рекой закурился пар. По сизой траве от ветра побежали синеватые тени. Грачи закричали за рекой в ветвях, и повсюду – в кустах и в траве – запели, зачирикали птицы... Солнце поднялось над степью...

Но Григорий Иванович был упрям: усмехнулся презрительно, прищурил глаза на солнце и побрел обратно в вонючую избенку.

Когда же вошел – желтым светом на стене горела жестяная лампа, все было прокурено, приспособлено для головной боли.

– Фу, черт, хоть топор вешай, – пробормотал Григорий Иванович и сейчас же вернулся на дворик, где, потеряв лоб, подумал: «Пойти искупаться. Ах, со мной творится неладное».

## 2

Студеная вода ознобила Григория Ивановича, и, окунувшись с фырканием два раза, он быстро оделся, сунул руки в рукава и сел на ползучий ствол ивы, глядя на восток.

Лазоревые изгибы речки скрывались в камышах и, вновь разливаясь по зеленому лугу, уходили за березовый лес вдалеке.

Напротив, на той стороне, белели, как комья снега, гуси на гусином щавеле. В затуманенной паром воде ходили пескарики, тревожа водоросли. На дне, у самых ног, лежала коряга, точно сом с усами, которого боялись мальчишки за то, что он хватает за ноги. В камышах летали серые птички и посвистывали.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.